

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ МИХАЙЛОВ: ВСТРЕЧА И РЕЗОНАНС ИДЕЙ¹

В.П. ВИЗГИН

Александр Викторович Михайлов (1938 – 1995) наследует лучшие черты русской и немецкой культурных традиций – основательность мысли, стремление к охвату целостных пластов культуры в их исторической диамике, склонность к крупномасштабным задачам. Этими чертами он напоминает такого новатора в области гуманитарной мысли, как Вильгельм Дильтей. Михайлов говорил о нем как «о вечном академическом труженике в суровом стиле второй половины XIX века, наделенном огромной производительностью и творящем научные тексты по глубинной потребности натуры»². А на суперобложку последнего вышедшего тома русского издания собрания сочинений немецкого мыслителя вынесено такое слово Михайлова о нем: «Дильтей выступает отдаленным предтечей традиции к синтезу историко-культурного знания, тяги к складыванию такой философски осмысляемой историко-культурной науки, которая являла бы культурную жизнь эпохи во всем многообразии ее связей»³. Эти слова во многом могут быть отнесены и к самому Михайлову. В них звучит не только содержательный резонанс михайловского видения культуры с позицией немецкого ученого, но в известной мере и параллелизм их личностно-творческих типов. Сочетание научной строгости с универсалистским пафосом романтиков, характерное для исследований Дильтея, по-новому и по-русски в могучих масштабах было воссоздано в наши годы в трудах А.В. Михайлова.

Александр Викторович Михайлов был германистом Божьей милостью. А наука для немецкого национального сознания – не только предмет гордости, но ценность, наделенная абсолютным моральным авторитетом. В современной науке, говорит Хайдеггер, «работают без помпы и лишнего шума, и в том образцовость науки для существования нашей нации»⁴. Слов «антропология» и «гуманизм» Хайдеггер не любил, теоретически обосновывая свою нелюбовь. Философия Гегеля, глубоко близкая ему, сумела соединить систематизм мысли с историзмом. Дильтей усвоил эту тенденцию в новых исторических и интеллектуальных условиях. Но его проект обоснования гуманитарного познания не получил законченной формы, несмотря на все его усилия. В результате, однако, возникла философская герменевтика, развитая Гадамером, учившимся у Хайдеггера. Я называю эти имена для того, чтобы еще раз напомнить базовый ландшафт той традиции, которой волей судеб суждено было стать философской традицией Михайлова. Рыцарем науки и культуры как воплощений объективного духа он стал с юных лет, когда увлекся Вагнером, что и привело его в

страну высокой германистики. Поэтому превращение гуманитарных отраслей знания в историзированные области ведения его ничуть не страшило — работать с гуманитарностью как с объективностью он привык, что называется, с младых ногтей. Мыслить историческими «пластами» ему было не привыкать — он «плавал» в них совершенно свободно. Язык объективирующего знания, каковым в первую очередь выступает язык естествознания, был ему, гуманитария, поэтому внутренне близок.

В структуре мирозерцания Михайлова выявляются два полюса — во-первых, дающий основание для осмысления и порождения всего сущего *логос* и, во-вторых, *историчность* бытия и сознания, соотносящихся с ним как с центром своей навигации в истории. Неполнота выявления логоса в историческом времени служит основанием для продолжения его раскрытия и, следовательно, для самой возможности истории как целостной и осмысленной. Определяя в этих словах философское кредо Михайлова, мы не можем не узнать в них продолжение традиции немецкого идеализма, особенно в той его ветви, что идет от Шеллинга и Гегеля к Дильтею, Хайдеггеру и Гадамеру.

«В воспоминаниях, — говорит Михайлов, — одно из начал философии»⁵. Может быть, даже самое ее важное начало, ибо что еще несет такой мощный заряд изумления, как не сам факт присутствия в нас прошлого, которого ведь, казалось бы, больше нет? Однако пути литературы как признанной фаворитки Мнемозины, с одной стороны, и философской мысли, все глубже увязающей в беспамятстве наукоцентризма или постмодернизма — с другой, казалось бы, разошлись окончательно. Но Александр Викторович Михайлов так не считал, воспринимая всю словесно выражающую себя культуру как живое, развивающееся единство. Теоретическое слово и слово художественное им не отделялись друг от друга. В его ментальном мире даже сфера числа, а значит, точное знание, не просто соседствовало с миром слова, но и пронизывалось им изнутри. Основой их объединения у него выступала *историзация* знания, которая им понималась в том числе и как освоение нами тех языков культуры, на которых мы как специалисты не говорим. Поэтому А.В. Михайлов следил за новой литературой по истории естественных наук, внимательно ее изучал, находя при этом немало близкого себе. Так и в моей книге «Идея множественности миров: очерки истории» (М., 1988) его внимание привлекло стремление присмотреться к чертам сходства гуманитарной мысли с естественнонаучным познанием.

Наша встреча произошла в пространстве идей. Лично мы не были знакомы. Конечно, некоторые работы Михайлова я читал, и глубина его анализа запомнилась. В 1991 г. в сборнике «Лосевские чтения» вышла его работа «Терминологические исследования А.Ф. Лосева и историзация нашего знания». «Мы должны, — говорит Михайлов в

своей статье, — учиться говорить иными языками знания»⁶. Почему? Потому что таков смысл логоса как *собирания* смыслов⁷. И поэтому та историзация знания, к которой он стремился, означает реакцию вытесненных или забытых культурных языков, обучение им современного субъекта культуры. Отсюда становится понятным, что точки схода разных языков культуры не могли не привлекать его внимания.

Одним из таких сходов, по видимости, несходного и была наша значимая встреча как событие резонанса некоторых разделяемых нами идей. Совпали не только мысли, но и некоторые слова, их выражающие («пласты», например)⁸. Символично, что эта встреча произошла под знаком А.Ф. Лосева, давшего убедительный образец плодотворного союза философии и филологии. Встретились филологизирующий философ науки и философствующий филолог культуры.

Внимание Александра Викторовича привлекло то место моей книги, где, преодолевая заданный план анализа проблемы множественности миров, переводя его в более широкий регистр рассмотрения, я обращаюсь к культурному контексту истории античной космологии и физики, к функции воображения в научном мышлении. «Культура творится если и не слепо, то с полузакрытыми глазами. И никто не знает, какие перекрещивания и метафоры окажутся в наибольшей мере продуктивными. Важно только, чтобы вся база, полный архив языков сохранялся и транслировался по мере жизни и роста культуры». Это было сказано в конце фрагмента, привлечшего внимание Александра Викторовича. В резонансе, возникшем между нами, обратим внимание на два момента. Первый: пользуясь словами, пишет Михайлов, «мы, конечно, имеем в виду задуманный нами смысл, но вместе с тем “вынуждены” иметь в виду и то, что мы не осознаем и не можем осознавать»⁹. Но как можно иметь в виду то, чего мы не осознаем? Ведь имение в виду — это уже некоторое осознание. Недоумение снимается, если мы отдадим себе отчет в том, что и осознание, и видение — динамические процессы в пространстве и времени человеческого творчества. То, что мы имеем в виду, не осознавая его, т.е. невидимое, ведь может при определенных условиях стать осознанным и увиденным. В этом все дело. Так уж устроено сознание: мы видим что-то и в то же время не видим, мы осознаем его и не осознаем (полностью — можно уточнить). И в такой ситуации мы должны действовать и созидать. Поэтому я и сказал, что культура творится если и не слепо, то с *полузакрытыми* глазами. В творчестве задействовано неполное, не совершенно ясное, но проясняющее себя своей активностью сознание. У Михайлова как филолога вся эта ситуация выступила несколько иначе — не через мышление в его динамике, а через слово, через его одиссею в культурном творчестве. Ее он описывает как «наше со-видение единого смысла слова» вместе с самим,

«самовольным», словом. Тем самым язык оказывается сотворцом культуры. В нем, в «ключевых словах культуры» не только раскрыты, но и сокрыты глубокие содержательные «пласты» самого бытия.

Второй момент нашего резонанса — остро осознаваемый императив реактивации всей полноты языков культуры как условие достойного выживания *homo sapiens*. В книге о множественности миров коды культуры были уподоблены генетическим кодам биологических видов, стоящих перед угрозой вымирания. Это оказалось созвучным михайловской мысли о необходимости *историзации* нашего знания, немислимой без сохранения многообразия культурных традиций и образцов.

Герменевтический поворот истории, мыслимый Михайловым, описывается им как то, что становится на наших глазах, существуя еще в неполной осуществленности, но уже в достаточно мощных тенденциях. Этот поворот он называет «историзацией нашего знания», всей истории культуры. Мы привыкли говорить о Красной книге биологических видов. А в проекте историзации, набрасываемом Михайловым, перед нами предстает как жизненно необходимая цель спасение всех забытых культур и языков в некоей герменевтически-филологической плероме. Недоступные смыслы — забытые смыслы. Кстати, революция в информатике позволяет надеяться, что и этот стоящий на повестке дня поворот истории к себе самой сможет получить конкретное воплощение, так как у нас теперь есть компактные носители информации и другие средства для его материализации.

Отмеченные моменты схождения наших идей были сформулированы тогда, когда я сопоставил текст Михайлова из лосевского сборника с тем, о чем говорится в книге о множественности миров. Сам же Александр Викторович в этой статье обратил сочувственное внимание на такие слова: «Никуда от метафоры познание не ушло. Метафора — инвариантное познавательное средство, и оно не списывается на эпистемологическую свалку в ходе прогресса знания»¹⁰. В этих словах философа, анализирующего историю естествознания, он услышал то, к чему пришел он сам как филолог и теоретик культуры. В них он увидел подтверждение своей идеи о происходящих переменах в историческом сознании, ведущих от презентизма с присущей ему модернизацией прошлого не просто к пассаизму, а к всевременной открытости, к новому культурно-историческому универсализму. Это не могло не быть ему близко как исследователю барокко и романтизма, чуткого также к тому, что происходит сегодня. А.В. Михайлов предчувствовал, что философ, ориентирующийся на точное знание, скорее, чем иной профессиональный гуманитарий, может догадаться о «границах точности слова, которое человек стремится забрать в свои руки». Поэтому, когда он действительно встретился с этим явлением, факт такой встречи послужил ему поводом для развернутого вы-

сказывания по этой проблематике. «То, что для нас есть метафора, притом непрременная, — размышляет Александр Викторович, — для слова есть оно само, нашедшее свое место»¹¹. Действительно, метафорический слой в дискурсе естествознания не подобен строительным лесам на возводимом здании, которые, как все это знают, будут скоро заменены другими — точными конструкциями. Так считает модернизирующий историю позитивистский рационализм. Однако он уже не отвечает реальностям современного научно-философского и культурно-исторического сознания. Михайлову была близка мысль о том, что научное миропонимание на самом деле не порывает, как это может показаться, с поэтическим взглядом, имеющим свои права гражданства в научной картине мира. Люсьен Февр вел свои страшные «бои за историю»¹². Михайлов же в гуманитарном познании был рыцарем скрытой в нем поэзии, понимая ее как живое творческое средоточие культуры, в том числе и научной. Уже поэтому «лирическая» нота, в стане «физиков» прозвучавшая, не могла не получить его отклика и поддержки.

В науке все должно быть обязательным. А вот «лирика» вроде бы являет нам образец субъективной необязательности. Но так ли это на самом деле? Михайлов как никто другой понимал, что у поэзии своя непрременность. Непременность поэтического слова — знак того, что оно слетает с «уст» самого бытия. Вот таким словом, где бы оно ни обнаруживалось, будь то в науке или в литературе, и интересовался Александр Викторович. Он во всем искал такие слова потому, что внутренне был настроен на них, пронизан их предчувствием, их «флюидами».

«Во всяком обмене информацией, — читаем мы в его статье, — наружу показывается лишь краешек смысла, которым можно довольствоваться — и как только человек объявляет о своей готовности довольствоваться таким, он выбрасывается из истории и становится господином мира». Настоящему же «любослову», а именно так следовало бы русифицировать выражение «филолог», дорого слово во всем его семантическом объеме, уходящем в несказанное и не могущее быть высказанным. Физики сейчас много говорят о «темной» материи. Но и у слов, как у плавающих льдин, в темноте неизведанности остается их «подводная часть». Именно об этом говорит Александр Викторович Михайлов в финале своей программной статьи.

Гегель субстантивировал мысль, понятие, Михайлов же субстантивирует слово. Слово, по его выражению, самовольно в своей самостоятельности¹³, стоит «на страже самого себя»¹⁴. Филолог, ставший мыслителем в духе Михайлова, выступает исследователем «подводных частей» слов, прежде всего важнейших из них, называемых «ключевыми словами культуры». Смысловое своеобразие слова искажается человеком, устремленным к господству над миром. Ради власти над

миром он отсекает «подводные» пласты смыслов слов, оставляя только практически полезный ему узкий, терминированный в знании смысл. Но все равно — не человек правит словом, а слово правит человеком и всем, что есть, было и будет. Слова, говорит Михайлов, находятся «в сущности над человеком и над сознанием: они в его распоряжении. Оно их направляет, пока человек думает и предполагает»¹⁵. Михайловское философствование, напоминающее прежде всего хайдеггеровское и, несомненно, испытавшее значительное влияние немецкого мыслителя, тем не менее не лишено самостоятельности и оригинальности. Если Хайдеггер философствует от имени Бытия, давая понять своим слушателям и читателям, что он — философский пророк его в пустыне его забвения, то Михайлов философствует как словесник *par excellence*. Что это значит? Прежде всего, это означает, что он философствует с точки зрения *слова*. Фундаментальная онтология немецкого философа становится у него фундаментальной филологией и герменевтикой: реальность — это герменевтическое самодвижение, в котором слово толкует себя, история осмысляет саму себя, чтобы стать исторической. Абсолютной системой координат здесь выступает именно слово: в пространстве его «самостояния» свой смысл получают и человек, и мир, и история, и культура. Многие «вещи» существуют только для нас, только в рамках определенной практически значимой ситуации. Но смыслы, правящие всем, существуют «с точки зрения слова». Например, это только мы сами говорим, что такое-то выражение есть метафора: с точки зрения же самого слова оно вовсе не метафора, а просто стоящее на своем месте слово. История есть выведывание неизведанного. «Неизведанное» звучит здесь как не изведенное наружу, как еще не раскрывшееся с нашим тому содействием. И в этом исторически свершаемом «выведывании неизведанного» упрямо, самовольно слова занимают те места, где им по их собственным меркам и надлежит стоять. А потом, *post factum*, мы оцениваем их как в несобственном, метафорическом смысле употребленные.

Автор историко-научной книги о множественности миров, говоря о неисчерпанности познавательного ресурса метафоры, позволил себе полет воображения, который и пришелся по душе филологу-поэту. Прозвучал «герменевтический сигнал», как иногда говорил Михайлов, того, что наши мысли в их глубине пришли в продуктивный резонанс, забыть о котором было уже невозможно. И вот через какое-то время после публикации этой статьи Александр Викторович звонит и просит меня как философа откликнуться на написанный им текст, который он считал требующим философской оценки. Речь шла об одном выступлении в Санкт-Петербурге, посвященном проблеме выражения невыразимого. Тема абсолютных границ мысли и слова — неоплатоническая. Специалистом по неоплатонизму я не был, но

мысли свои в ответ на михайловские стал продумывать и заносить на бумагу. набросанный текст я отдал Александру Викторовичу. Мы с ним встретились и говорили об этом и разном другом. В результате произошло нечто большее, чем обмен философскими мыслями. Возникла академическая, вполне в платоновском смысле, дружба с горящим внутри нее ясным и теплым человеческим светом, к сожалению, недолгая.

Сомышление филолога и философа — вот к чему стремился Михайлов. К «мышлению совместно с философом», как он это называл. Философом он был сам, хотя и не в смысле дипломированного специалиста. Поэтому такое сомышление присутствовало в его собственной работе, но он стремился к кооперации с теми, кого считал философами. Конечно, Хайдеггер был для него не только образцом филологической чуткости к языку мысли, но и высочайшим мастером философии. И с ним он вел свою философскую беседу, скорее следуя за ним, чем возражая, потому что видел в нем высокой пробы осуществление такого творческого союза.

Польза филологического «присмотра» за словами для философии очевидна. Вот один только тому пример. «Обусловливание» в немецком языке выражается словом, в основе которого лежит другое слово — «вещь» (Bedingung от Ding). Русский же язык тот же, казалось бы, смысл передает с помощью другого корнесловья — через слова с корнем, происходящим от слова «слово» (условие, обусловливание). Если мы принимаем тезис, что язык сам по себе «философствует», то приходим к констатации, что немецкий язык вникает в устройство мира со стороны *вещи*. Над вещью господствовать можно при условии (Bedingung!) наличия знания о ней. Знание — сила и тем самым основа господства над познанным, а наличие культа могущества в германской культурной традиции трудно отрицать. А с ним связан и культ науки, столь сильно — до карикатуры — развитый у германских народов. Русский же язык, в отличие от немецкого, обязывает мысль строить свое понимание мира, исходя из приоритета слова (вспомним наше «обусловливание»). Или силовое принуждение по отношению к вещам, или порядок Слова в мире личностей — вот альтернатива германской и русской моделей мира. Действительно, мировоззрение людей выстраивается по лекалам их языка. Кстати, австрийская картина мира, проникнуть в которую нам помогают работы Михайлова, оказывается, если за образец взять творчество Штифтера, более близкой к русскому ментальному стилю, чем к немецкому — сила здесь мыслится как атрибут кротости, скромности, тихости.

Шел 1994 год. Философы и филологи готовились отметить сто пятьдесят лет со дня рождения Фридриха Ницше. По этому случаю Александр Викторович предложил мне выступить с докладом в Институте мировой литературы РАН. Для меня было честью принять его

предложение. Отказать ему я не мог, хотя специалистом по Ницше не был. Он присутствовал на этой конференции, но не думаю, чтобы доклад мой произвел на него большое впечатление. Могу предположить почему: хайдеггеровская интерпретация Ницше, анализ его работы со словом в ней присутствовали в слабой степени. С таким докладом лучше было бы выступить ему самому. Я ему тогда об этом и сказал. Но Михайлов был до предела загружен работой. Помнится, помимо разных других тем в последние годы жизни он участвовал в написании истории швейцарской литературы.

Публикация моих литературно-философских эссе в сдвоенном номере «Контекста», ответственным редактором которого был А.В. Михайлов, продолжила наше сотрудничество. Он предварительно познакомился с ними и предложил опубликовать в руководимом им издании. Сборник вышел уже после его смерти¹⁶.

Смерть Александра Викторовича Михайлова не остановила потока его щедрот. В годы его отсутствия на нас, как из рога изобилия, «посыпались» его замечательные книги. Разговор с ним не кончается. Смерть бессильна его прервать. «Он всем нам еще многое скажет». Этими словами Татьяны Александровны Касаткиной я и закончу.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ По материалам выступления на Михайловских чтениях в Институте мировой литературы РАН 14 декабря 2011 г.

² *Михайлов А.В.* Дильтей как литературовед и эстетик // *Дильтей В.* Собр. соч. Т. IV. Герменевтика и теория литературы. – М., 2001. – С. 499.

³ *Михайлов А.В.* Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. – СПб., 2006. – С. 243.

⁴ *Хайдеггер М.* Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба за историческое мировоззрение. Десять кассельских докладов // Два текста о Вильгельме Дильтее / пер. А.В. Михайлова. – М., 1995. – С. 143.

⁵ *Михайлов А.В.* Хайдеггер: человек в мире. – М., 1990. – С. 39.

⁶ *Михайлов А.В.* Терминологические исследования А.Ф. Лосева и историзация нашего знания // *Михайлов А.В.* Обратный перевод. – М., 2000. – С. 496.

⁷ *Михайлов А.В.* Вместо введения // *Хайдеггер М.* Работы и размышления разных лет. – М., 1993. – С. XXVIII.

⁸ В работах Михайлова это распространенный технический термин. О них же говорится в конце процитированного Михайловым места из моей книги.

⁹ Там же. – С. 492.

¹⁰ *Визгин В.П.* Идея множественности миров. Очерки истории. – М., 1988. – С. 59. См.: *Михайлов А.В.* Обратный перевод. – С. 494.

¹¹ *Михайлов А.В.* Обратный перевод. – С. 495.

¹² *Февр Л.* Бой за историю. – М., 1991.

¹³ *Михайлов А.В.* Обратный перевод. – С. 495.

¹⁴ Там же. – С. 493.

¹⁵ Там же. – С. 494.

¹⁶ *Визгин В.П.* Наш стиль еще не родился, *Визгин В.П.* Путешествие через болезнь с Амием в руках // Контекст. Литературно-теоретические исследования. 1994, 1995. – М., 1996. – С. 163 – 194.

Аннотация

В статье дается краткая характеристика философского мировоззрения выдающегося филолога-германиста А.В. Михайлова (1938 – 1995). Особое внимание уделено рассказу о встрече и резонансе идей А.В. Михайлова с тезисами, выдвигавшимися автором данной статьи. Идея историчности нашего знания и идея инвариантности метафоры как познавательного средства составляют концептуальное ядро этой работы.

Ключевые слова: А.В. Михайлов, языки знания, филология и философия, метафора.

Summary

The paper offers the short philosophical characteristics of the eminent Russian philologist-germanist A.V. Mikhaylov (1938 – 1995). Particular attention is paid to the account of author's meeting and dialogue with him. The idea of historicity of our knowledge and one of the epistemological invariance of metaphor form the conceptual substance of this paper.

Keywords: A.V. Mikhaylov, languages of knowledge, philology and philosophy, metaphor.